

21. ВРЕДНЫЕ ДЕДЫ

Летом по вечерам чудесно в колонии. Просторно раскинулось ласковое живое небо, опушка леса притихла в сумерках, силуэты подсолнухов на краях огородов собрались и отдыхают после жаркого дня, теряется в неясных очертаниях вечера прохладный и глубокий спуск к озеру. У кого-нибудь на крыльце сидят, и слышен невнятный говор, а сколько человек там и что за компания — не разберешь.

Наступает такой час, когда как будто еще светло, но уже трудно различать и узнавать предметы. В этот час в колонии всегда кажется пусто. Спрашиваешь себя: да куда же это подевались хлопцы? Пройдитесь по колонии, и вы увидите их всех. Вот в конюшне человек пять совещаются у висящего на стене хомута, в пекарне целое заседание — через полчаса будет готов хлеб, и все люди, прикосновенные к этому делу, к ужину, к дежурству по колонии, расположились на скамьях в чисто убранной пекарне и тихонько беседуют. Возле колодца разные люди случайно оказались вместе: тот с ведром бежал за водой, тот шел мимо, а третьего остановили потому, что еще утром была в нем нужда: все забыли о воде и вспомнили о чем-то другом, может быть, и неважном... но разве бывает что-нибудь неважное в хороший летний вечер?

У самого края двора, там, где начинается спуск к озеру, на поваленной вербе, давно потерявшей кору, уселась целая стайка, и Митягин рассказывает одну из своих замечательных сказок:

— ...Значит, утром и приходят люди в церковь, смотрят — нет ни одного попа. Что такое? Куда попы девались? А сторож и говорит: «То ж, наверное, наших попов черт носил сегодня в болото. У нас же четыре попа». — «Четыре». — «Ну, так оно и есть: четыре попа за ночь в болото перетащил...»

Ребята слушают тихонько, с горящими глазами, иногда только радостно взвизгивает Тоська: ему не столько нравится черт, сколько глупый сторож, который целую ночь смотрел и не разобрал, своих попов или чужих черт таскал в болото. Представляются все эти одинаковые, безымённые жирные попы, все это хлопотливое, тяжелое предприятие — подумайте, перетаскать их всех на плечах в болото! — все это глубокое безразличие к их судьбе, такое же вот безразличие, какое бывает при истреблении клопов.

В кустах бывшего сада слышится взрывной смех Оли Вороновой, ей отвечает баритонный поддразнивающий говорок Буруна, снова смех, но уже

не одной Оли, а целого девичьего хора, и на поляну вылетает Бурун, придерживая на голове смятую фуражку, а за ним веселая пестрая погоня. На поляне остановился заинтересованный Шелапутин и не знает, что ему делать — смеяться или удирать, ибо у него тоже с девочками старые счеты.

Но тихие, задумчивые, лирические вечера не всегда соответствовали нашему настроению. И кладовые колонии, и селянские погребца, и даже квартиры воспитателей не перестали еще быть аренной дополнительной деятельностью, хотя и не столь продуктивной, как в первый год нашей колонии. Пропажа отдельных вещей в колонии вообще сделалась редким явлением. Если и появлялся в колонии новый специалист по таким делам, то очень быстро начал понимать, что ему приходится иметь дело не с заведующим, а со значительной частью коллектива, а коллектив в своих реакциях был чрезвычайно жесток. В начале лета мне с трудом удалось вырвать из рук колонистов одного из новеньких, которого ребята поймали при попытке залезть через окно в комнату Екатерины Григорьевны. Его били с той слепой злобой и безжалостностью, на которую способна только толпа. Когда я очутился в этой толпе, меня с такой же злобой отшвырнули в сторону, и кто-то закричал в горячке: — Уберите Антона к чертям!

Летом в колонию был прислан комиссией Кузьма Леший. Его кровь наверхьяка наполовину была цыганской. На смуглом лице Лешего были хорошо пригнаны и снабжены прекрасным вращательным аппаратом огромные черные глаза, и этим глазам от природы было дано определенное назначение: смотреть за тем, что плохо лежит и может быть украдено. Все остальные части тела Лешего слепо подчинялись распорядительным приказам цыганских глаз: ноги несли Лешего в ту сторону, в которой находился плохо лежащий предмет, руки послушно протягивались к нему, спина послушно изгибалась возле какой-нибудь естественной защиты, уши напряженно прислушивались к разным шорохам и другим опасным звукам. Какое участие принимала голова Лешего во всех этих операциях — невозможно сказать. В дальнейшей истории колонии голова Лешего была достаточно оценена, но в первое время она для всех колонистов казалась самым ненужным предметом в его организме.

И горе, и смех были с этим Лешим! Не было дня, чтобы он в чем-нибудь не попался: то сопрет с воза, только что прибывшего из города, кусок сала, то в кладовке из-под рук стянет горсть сахарного песка, то у товарища из кармана вытрусит махорку, то по дороге из пекарни в кухню слопают половину хлеба, то у воспитателя в квартире во время делового разговора возьмет столовый нож. Леший никогда не пользовался сколько-нибудь сложным планом или самым пустяковым инструментом: так уж он был устроен, что лучшим инструментом считал свои руки. Хлопцы пробовали его бить, но Леший только ухмылялся:

— Да чего ж там бить меня? Я ж и сам не знаю, как оно так случилось, хотя бы и вы были на моем месте.

Кузьма очень веселый парень. В свои шестнадцать лет он вложил большой опыт, много путешествовал, много видел, сидел понемногу во всех губернских тюрьмах, был грамотен, остроумен, страшно ловок и неустрашим в движениях, замечательно умел «садить гопака» и не знал, что такое смущение.

За эти все качества ему многое прощали колонисты, но все же его исключительная вороватость нам начинала надоедать. Наконец он попал в очень неприятную историю, которая надолго привязала его к постели. Как-то ночью залез он в пекарню и был крепко избит поленом. Наш пекарь, Костя Ветковский, давно уже страдал от постоянных недостатков хлеба при сдаче, от уменьшенного припека, от неприятных разговоров с Калиной Ивановичем. Костя устроил засаду и был удовлетворен свыше меры: прямо на его засаду ночью прилез Леший. Наутро пришел Леший к Екатерине Григорьевне и просил помощи. Рассказал, что лазил на дерево рвать шелковицу и вот так исцарапался. Екатерина Григорьевна очень удивилась такому кровавому результату простого падения с дерева, но ее дело маленькое: перевязала Лешему физиономию и отвела в спальню, ибо без ее помощи Леший до спальни не добрался бы. Костя до поры до времени никому не рассказывал о подробностях ночи в пекарне: он был занят в свободное время в качестве сиделки у постели Кузьмы и читал ему «Приключения Тома Сойера».

Когда Леший выздоровел, он сам рассказал обо всем происшедшем и сам первый смеялся над своим несчастьем.

Карабанов сказал Лешему:

— Слухай, Кузьма, если бы мне так не везло, я давно бы бросил красть. Ведь так тебя и убьют когда-нибудь.

— Я и сам так думаю, чего это мне не везет? Это, наверное, потому, что я не настоящий вор. Надо будет еще раза два попробовать, а если ничего не выйдет, то и бросить. Правда же, Антон Семенович?

— Раза два? — ответил я. — В таком случае не нужно откладывать, попробуй сегодня, все равно ничего не выйдет. Не годишься ты на такие дела.

— Не гожусь?

— Нет. Вот кузнец из тебя хороший выйдет, Семен Петрович говорил.

— Говорил?

— Говорил. Только он еще говорил, что ты в кузнице два новых метчика спер — наверное, они у тебя сейчас в карманах.

Леший покраснел, насколько могла покраснеть его черная рожа.

Карабанов схватил Лешего за карман и заржал так, как умел ржать только Карабанов:

— Ну, конечно же, у него! Вот тебе уже первый раз и есть — засыпался.

— От черт! — сказал Леший, выгружая карманы.

Вот только такие случаи встречались у нас внутри колонии. Гораздо хуже было с так называемым окружением. Селянские погреба по-прежнему пользовались симпатиями колонистов, но это дело теперь было в совершенстве упорядочено и приведено в стройную систему. В погребных операциях принимали участие исключительно старшие, малышей не допускали и безжалостно и искренне возбуждали против них уголовные обвинения при малейшей попытке спуститься под землю. Старшие достигли настолько выдающейся квалификации, что даже кулацкие языки не смели обвинять колонию в этом грязном деле. Кроме того, я имел все основания думать, что оперативным руководством всех погребных дел состоит такой знаток, как Митягин.

Митягин рос вором. В колонии он не брал потому, что уважал людей, живущих в колонии, и прекрасно понимал, что взять в колонии — значит обидеть хлопцев. Но на городских базарах и у селян ничего святого не было для Митягина. По ночам он часто не бывал в колонии, по утрам его с трудом поднимали к завтраку. По воскресеньям он всегда просился в отпуск и приходил поздно вечером, иногда в новой фуражке или шарфе и всегда с гостинцами, которыми угощал всех малышей. Малыши Митягина боготворили, но он умел скрывать от них свою откровенную воровскую философию. Ко мне Митягин относился по-прежнему любовно, но о воровстве мы с ним никогда не говорили. Я знал, что разговоры ему помочь не могли.

Все-таки Митягин меня сильно беспокоил. Он был умнее и талантливее многих колонистов и поэтому пользовался всеобщим уважением. Свою воровскую натуру он умел показывать в каком-то неотразимо привлекательном виде. Вокруг него всегда был штаб из старших ребят, и этот штаб держался с митягинской тактичностью, с митягинским признанием колонии, с уважением к воспитателям. Чем занималась вся эта компания в темные тайные часы, узнать было затруднительно. Для этого нужно было либо шпионить, либо выпытывать кое у кого из колонистов, а мне казалось, что таким путем я сорву развитие так трудно родившегося тона.

Если я случайно узнавал о том или другом походе Митягина, я откровенно громил его на собрании, иногда накладывал взыскание, вызывал к себе в кабинет и ругал наедине. Митягин обыкновенно отмалчивался с идеально спокойной физиономией, приветливо и расположено улыбался, уходя, неизменно говорил ласково и серьезно:

— Спокойной ночи, Антон Семенович!

Он был открытым сторонником чести колонии и очень негодовал, когда кто-нибудь «засыпался».

— Я не понимаю, откуда берется это дурачье? Лезет, куда у него руки не стоят.

Я предвидел, что с Митягиным придется расстаться. Обидно было признать свое бессилие, и жалко было Митягина. Он сам, вероятно, тоже считал,

что в колонии ему сидеть нечего, но и ему не хотелось покидать колонию, где у него завелось порядочное число приятелей и где все малыши липли к нему, как мухи на сахар.

Хуже всего было то, что митягинской философией начинали заражаться такие, казалось бы, крепкие колонисты, как Карабанов, Вершневу, Волохов. Настоящую и открытую оппозицию Митягину составлял один Белухин. Интересно, что вражда Митягина и Белухина никогда не принимала форм сварливых столкновений, никогда они не вступали в драки и даже не ссорились. Белухин открыто говорил в спальне, что пока в колонии будет Митягин, у нас не переведутся воры. Митягин слушал его с улыбкой и отвечал незлобливо:

— Не всем же, Матвей, быть честными людьми. Какого б черта стоила твоя честность, если бы воров не было? Ты только на мне и зарабатываешь.

— Как — я на тебе зарабатываю? Что ты врешь?

— Да обыкновенно как. Я вот украду, а ты не украдешь, вот тебе и слава. А если бы никто не крал, все были бы одинаковые. Я так считаю, что Антону Семеновичу нужно нарочно привозить таких, как я. А то таким, как ты, никакого ходу не будет.

— Что ты все врешь! — говорил Белухин. — Ведь есть же такие государства, где воров нету. Вот Дания, и Швеция, и Швейцария. Я читал, что там совсем нет воров.

— Н-н-ну, это б-б-брехня, — вступился Вершневу, — и т-там к-к-крадут. А ч-что ж х-хорошего, ч-что воров н-нет? Д-дания и Швейцар-р-рия — мелочь.

— А мы что?

— А м-мы, в-вот в-видишь, в-вот у-у-увидишь, к-как себя п-п-покажем, в-вот р-р-революция, в-видишь, к-к-к-какая!..

— Такие, как вы, первые против революции стоите, вот что!..

За такие речи больше всех и горячее всех сердился Карабанов. Он вскакивает с постели, потрясает кулаком в воздухе и свирепо прицеливается черными глазами в добродушное лицо Белухина:

— Ты чего здесь разошелся? Думаешь, если я с Митягиным лишнюю булку съем, так это вред для революции? Вы всё привыкли на булки мерять...

— Да что ты мне свою булку в глаза стромляешь? Не в булке дело, а в том, что ты, как свинья, ходишь, носом землю разрываешь.

К концу лета деятельность Митягина и его товарищей была развернута в самом широком масштабе на соседних баштанах. В наших краях в то время очень много сеяли арбузов и дынь, некоторые зажиточные хозяева отводили под них по несколько десятин.

Арбузные дела начались с отдельных набегов на баштаны. Кража с баштана на Украине никогда не считалась уголовным делом. Поэтому и крестьянские парни всегда разрешали себе совершать небольшие вторжения на соседский баштан. Хозяева относились к этим вторжениям более или менее добродушно:

на одной десятине баштана можно собрать до двадцати тысяч штук арбузов, утечка какой-нибудь сотни за лето не составляла особенного убытка. Но все же среди баштана всегда стоял курень, и в нем жил какой-нибудь старый дед, который не столько защищал баштан, сколько производил регистрацию непрошенных гостей.

Иногда ко мне приходил такой дед и заявлял жалобу:

— Вчера ваши лазили по баштану. Так вы им скажите, что недобре так делать. Нехай прямо приходят в курень, и чего ж там, всегда можно человеку угощение сделать. Скажи мне, и я тебе самый лучший арбуз выберу.

Я передал просьбу деда хлопцам. Они воспользовались ею в тот же вечер, но в предлагаемую дедом систему внесли небольшие коррективы: пока в курене съедался выбранный дедом самый лучший арбуз и велись приятельские разговоры о том, какие арбузы были в прошлом году и какие были в то лето, когда японец воевал, на территории всего баштана хозяйничали нелегальные гости и уже без всяких разговоров набивали арбузами подолы рубах, наволочки и мешки. В первый вечер, воспользовавшись любезным приглашением деда, Вершневу предложил отправиться к деду в гости Белухину. Другие колонисты не протестовали против такого предпочтения. Матвей возвратился с баштана довольный:

— Честное слово, так это хорошо: и поговорили, и удовольствие человеку произвели.

Вершневу сидел на лавке и мирно улыбался. В дверь ввалился Карабанов.

— Ну что, Матвей, погостовал?

— Да, видишь, Семен, можно жить по-соседски.

— Тебе хорошо: ты арбузов наелся, а нам как же?

— Да чудак! Поди ты к нему.

— Вот тебе раз! Как тебе не стыдно? Если человек пригласил, так уже всем идти. Это по-свински выйдет. Нас шестьдесят человек.

На другой день Вершневу вновь предложил Белухину идти в гости к деду. Белухин великодушно отказался: пусть идут другие.

— Где я там буду искать других? Идем, что ли? Да ведь ты можешь и не есть арбузов. Посидишь, побалакаешь.

Белухин сообразил, что Вершневу прав. Ему даже понравилась идея: пойти к деду в гости и показать, что колонисты ходят не из-за того, чтобы съесть арбуз.

Но дед встретил гостей очень недружелюбно, и Белухину ничего не удалось показать. Напротив, дед показал им винтовку и сказал:

— Вчера ваши проступники, пока вы здесь балакали, половину баштана снесли. Разве так можно делать? Нет, с вами, видно, нужно по-другому. Вот я буду стрелять.

Белухин, смущенный, возвратился в колонию и в спальне раскричался. Ребята хохотали, и Митягин говорил:

— Ты что, в адвокаты к деду нанялся? Ты вчера по закону слопал лучший арбуз, чего тебе еще нужно? А мы, может быть, и никакого не видели. Какие у тебя доказательства?

Дед ко мне больше не приходил. Но многие признаки показывали, что началась настоящая арбузная вакханалия.

Однажды утром я заглянул в спальню и увидел, что весь пол в спальне завален арбузными корками. Я набросился на дежурного, кого-то наказал, потребовал, чтобы этого больше не было. Действительно, в следующие дни в спальнях было по-обычному чисто.

Тихие, прекрасные летние вечера, полные журчащих бесед, хороших, ласковых настроений и неожиданного звонкого смеха, переходили в прозрачные торжественные ночи.

Над заснувшей колонией бродят сны, запахи сосны и чабреца, птичьи шорохи и отзвуки собачьего лая в каком-то далеком государстве. Я выхожу на крыльцо. Из-за угла показывается дежурный сигналист-сторож, спрашивает, который час. У его ног купается в прохладе и неслышно чапает пятнистый Букет. Можно спокойно идти спать.

Но этот покой прикрывал очень сложные и беспокойные события.

Как-то спросил меня Иван Иванович:

— Это вы распорядились, чтобы лошади свободно гуляли по двору целыми ночами? Их могут пократь.

Братченко возмутился:

— А что же, лошадям так нельзя уже и свежим воздухом подышать?

Через день спросил Калина Иванович:

— Чего это кони в спальни заглядывают?

— Как «заглядывают»?

— А ты посмотри: как утро, они и стоят под окнами. Чего они там стоят?

Я проверил: действительно, ранним утром все наши лошади и вол Гаврюшка, подаренный нам за ненадобностью и старостью хозяйственной частью наробраза, располагались перед окнами спален в кустах сирени и черемухи и неподвижно стояли часами, очевидно, ожидая какого-то приятного для них события.

В спальне я спросил:

— Чего это лошади в ваши окна заглядывают?

Опришко поднялся с постели, выглянул в окно, ухмыльнулся и крикнул кому-то:

— Сережа, а пойдешь спроси этих идиотов, чего они стоят перед окнами.

Под одеялами хмыкнули. Митягин, потягиваясь, пробасил:

— Не нужно было в колонии таких любопытных скотов заводить, а то вам теперь беспокойство...

Я навалился на Антона:

— Что за таинственные происшествия? Почему лошади торчат здесь каждое утро? Чем их сюда приманивают?

Белухин отстранил Антона:

— Не беспокойтесь, Антон Семенович, лошадям никакого вреда не будет. Антон нарочно их сюда водит, приятность здесь ожидается.

— Ну, ты, заболтал уже! — сказал Карабанов. — Да мы вам скажем. Вы от запретили корки набрасывать на пол, а у нас не без того, что у кого-нибудь арбуз окажется...

— Как это — «окажется»?

— Да как? То дед кому подарит, то деревенские принесут...

— Дед подарит? — спросил я укоризненно.

— Ну, не дед, так как-нибудь иначе. Так куда же корки девать? А тут Антон выгнал лошадей прогуляться. Хлопцы и угостили.

Я вышел из спальни.

После обеда Митягин приволок ко мне в кабинет огромный арбуз:

— Вот попробуйте, Антон Семенович.

— Где ты достал? Убирайся со своим арбузом!.. И вообще я за вас возьмусь серьезно.

— Арбуз самый честный, и специально для вас выбирали. Деду за этот кавун заплачено чистой монетою. А за нас, конечно, взяты давно пора, мы за это не обижаемся.

— Проваливай и с кавуном, и с разговорами!

Через десять минут с тем же арбузом пришла целая депутация. К моему удивлению, речь держал Белухин, прерывая ее на каждом слове для того, чтобы захохотать:

— Эти скоты, Антон Семенович, если бы вы знали, сколько поедают кавунов каждую ночь! Что же тут скрывать... У одного Волохова... он... это, конечно, неважно. Как они достают — пускай будет на ихней совести, но безусловно, что и меня угощают, разбойники, нашли, понимаете, в моей молодой душе слабость: люблю страшно арбузы. Даже и девочки пропорцию свою получают, и Тоське дают: нужно сказать, что в ихних душах все-таки помещаются благородные чувства. Ну, а знаем же, что вы кавунов не кушаете, только одни неприятности из-за этих проклятых кавунов. Так что примите уже этот скромный подарок. Я же человек честный, не какой-нибудь Вершневу, вы мне поверьте, деду за этот кавун заплачено, может, и больше того, сколько в нем производительности заложено человеческого труда, как говорит наука экономической политики.

Закончив таким образом, Белухин сделался вдруг серьезен, положил арбуз на мой стол и скромно отошел в сторону. Непричесанный и по-обычному истерзанный Вершневу выглядывал из-за Митягина.

— П-п-политической э-экономии, а не экономической п-политики.

— Один черт, — сказал Белухин.

Я спросил:

— Чем заплатили деду?

Карабанов загнул палец:

— Вершнеv припаял до кружки ручку, Гуд латку положил на чобот, а я по-сторожил за него полночи.

— Воображаю, сколько за эти полночи вы прибавили к этому арбузу!

— Верно, верно, — сказал Белухин. — Это я могу подтвердить по чести. Мы теперь с этим дедом контакт держим. А вот там к лесу есть баштан, так там, правда, такой вредный сидит, всегда стреляет.

— А ты что, тоже на баштан начал ходить?

— Нет, я не хожу, но выстрелы слышу: бывает, пойдешь пройтись...

Я поблагодарил ребят за прекрасный арбуз.

Через несколько дней я увидел и вредного деда. Он пришел ко мне, вконец расстроенный.

— Что же это такое будет? То тащили по ночам больше, а то уже и днем спасения не стало, приходят в обед целыми бандами, хоть плачь, — за одним погонисься, а другие по всему баштану.

Я ребятам пригрозил, что буду сам ходить помогать охране или найму сторожей за счет колонии.

Митягину сказал:

— Вы этому граку верьте. Не в арбузах дело, а в том, что пройти нельзя мимо баштана.

— Да чего вам мимо баштана ходить? Куда там дорога?

— Какое его дело, куда мы идем? Чего он палит?

Еще через день Белухин меня предупредил:

— С этим дедом добром не кончится. Здорово хлопцы обижаются. Дед уже боится один сидеть в курене, с ним еще двое дежурят, и все с ружьями. А хлопцы этого вытерпеть не могут.

В ту же ночь колонисты пошли на этот баштан цепью. Мои занятия по военному делу пошли на пользу. В полночь половина колонии залегла на меже баштана, вперед выслали дозоры и разведку. Когда деды подняли тревогу, хлопцы закричали «ура» и кинулись в атаку. Сторожа отступили в лес и в панике забыли в курене ружья. Часть ребят занялась реализацией победы, скапывая арбузы к меже под горку, остальные приступили к репрессиям: подождгли огромный курень.

Один из сторожей прибежал в колонию и разбудил меня. Мы поспешили к месту боя.

Курень на горке поыхал огромным костром, и от него стояло такое зарево, как будто горело целое село. Когда мы подбежали к баштану, на нем раздалось несколько выстрелов. Я увидел колонистов, залегших правильными

отделениями в арбузных зарослях. Иногда эти отделения поднимались на ноги и перебегали к горящему куреню. Где-то на правом фланге командовал Митягин:

— Не лезь прямо, заходи сбоку.

— Кто это стреляет? — спросил я деда.

— Да кто его знает? Там же никого нэма. Мабуть, то винтовку хтось забув, мабуть, то винтовка сама стреляет.

Дело было, собственно говоря, закончено. Увидев меня, ребята как сквозь землю провалились. Дед повздыхал и ушел домой. Я возвратился в колонию. В спальнях был мертвый покой. Все не только спали, но даже храпели: никогда в жизни не слышал такого храпа. Я сказал негромко:

— Довольно дурака валять, вставайте.

Храп прекратился, но все продолжали настойчиво спать.

— Вставайте, вам говорят.

С подушек поднялись лохматые головы. Митягин глядел на меня и не узнавал:

— В чем дело?

Но Карабанов не выдержал:

— Да брось, Митяга, чего там!

Все меня обступили и начали с увлечением рассказывать о подробностях доблестной ночи. Таранец вдруг подпрыгнул, как обваренный:

— Там же в курене ружья!

— Сгорели...

— Дерево сгорело, а то все годится.

И вылетел из спальни.

Я сказал:

— Может быть, это и весело, но все-таки это настоящий разбой. Я больше терпеть не могу. Если вы хотите продолжать так и дальше, нам будет не по дороге. Что это такое в самом деле: ни днем, ни ночью нет покоя ни колонии, ни всей округе!

Карабанов схватил меня за руку:

— Больше этого не будет. Мы и сами видим, что довольно. Правда ж, хлопцы?

Хлопцы загудели что-то подтверждающее.

— Это все слова, — сказал я. — Предупреждаю, что, если все эти разбойничьи дела будут повторяться, я кое-кого выставлю из колонии. Так и знайте, больше повторять не буду.

На другой день на пострадавший баштан приехали подводы, собрали все, что на нем еще осталось, и уехали.

На моем столе лежали дула и мелкие части сгоревших ружей.



[Почитать описание, рецензии
и купить на сайте](#)

Лучшие цитаты из книг, бесплатные главы и новинки:

